



П. А. ПОЛОВЦОВ

<«Его слишком очевидное и честолюбивое стремление стать самодержавным диктатором понемногу охлаждает симпатии даже самых горячих его сторонников»>

<...> Беседа кончается около 3-х часов ночи. Забираемся опять в автомобиль Пальчинского. Он развозит нас по домам и по дороге объясняет нам цель сегодняшнего собеседования. По его мнению, Керенский единственный сильный человек, которого выдвинула революция, и мы должны его всячески поддерживать и просвещать. У меня получается впечатление, что Пальчинский предвидит поглощение Гучкова Керенским.

<...> В вопросе о женском батальоне, так же, как и во многих других вещах, я начинаю замечать, что Керенский вообще мне не сочувствует. Особенно он трунит над моими хорошими отношениями с Советом. Начинаю думать, что он боится моей конкуренции на должность Диктатора (какое непонимание людского характера), а, может быть, ему хочется меня сравнить с Советом и, таким образом, отделаться от одной или даже обеих величин, могущих впоследствии оказать тормозящее влияние на его вознесение. Бог его знает, но, во всяком случае, замечательно его двуличие по отношению к Совету, когда он говорил, что он их единомышленник, что он будет проводить их идеалы и считать себя ответственным только перед ними и проч. А теперь, в тиши кабинета, он изобретает способы от них отделаться.

Его главное занятие теперь — носиться по железным дорогам на фронте и по большим городам, всюду произнося речи. Говорит он хорошо, но упускает из виду, что эффект всякой речи выдыхается очень быстро и что, если он наэлектризовал какой-нибудь полк патриотическими словами, это отнюдь не значит, что этот полк через неделю будет хорошо драться. Если тогда какие-нибудь смутные воспоминания о его словоизвержениях в солдатских умах

и сохранились, первая шрапнель, вместе с большевистскими нашептываниями, быстро эти воспоминания рассеют. Людям, знакомым с солдатской психологией, это хорошо известно. Нужно мало слов и во благовремении.

Помню, раз наговорившись вдоволь на фронте, Керенский решил поговорить в Петрограде и в зале Собрания армии и флота обратился с речью к представителям батальонных комитетов. Вышло очень эффектно, когда он заявил, что теперь все критикуют и обличают правительство, а при старом режиме критиковал и обличал в Думе только он один. Этой фразой он заслужил дешевые аплодисменты. Но когда было позволено на бумажках задавать вопросы, то эти вопросы показали, что в умах у слушателей вещи более практические — вроде пайка солдатским семействам и проч. Ясно, что вечером в казарме, если делегат начнет передавать речь Керенского, он будет перебит вопросом: «А паек моей жене почему не выдали?» и, получив неопределенный ответ, вопросивший махнет рукой и уйдет на двор грызть семечки. Если Керенский хотел приобрести популярность в войсках, чтобы этим рычагом спасти Россию, ему следовало бы либо самому, по моему примеру, ходить по казармам и говорить с солдатами их языком про вещи, их интересующие, либо предоставить генералам, знающим это дело, приобретать доверие войск, но Керенский знал командный состав армии еще хуже Гучкова, да кроме того он, по-видимому, боялся всякого человека с популярностью. Он мог бы, наконец, поехать на фронт во время наступления, заговорить зубы какому-нибудь полку и повести его в атаку, хорошенько прорекламиривать потом какой-нибудь новый Аркольский мост, но для этого нужно быть военным человеком, а не присяжным поверенным.

Другая ошибка Керенского всегда сказывалась на парадах и военных церемониях. Не подозревая, до какой степени солдаты чувствительны к мелочам, он всегда проходил по фронту почти бегом, глядя прямо перед собой, да еще в большинстве случаев между строем и линией офицеров, которые, таким образом, невольно стояли к нему спиной. Конечно, далеко ему было до улыбки императрицы Марии Федоровны¹, неизменно проводившей глазами по всей линии глаз так, что каждый выносил впечатление, что она именно на него посмотрела и ему улыбнулась. Но отсутствие интереса к солдатской личности было слишком в Керенском ясно, а наряду с этим, когда какое-нибудь начальство предлагало «ура нашему Александру Федоровичу», он, очевидно, солдатское «ура» принимал за чистую монету в большей степени, чем какой либо из российских самодерж-

цев. Оттенки солдатского «ура» может уловить только тот, кто сам стоял в строю и не в передней шеренге.

Особенно врезались в моей памяти два грустных смотра в Павловске и в Царском Селе. Как-то вечером, будучи с докладом у Керенского, рассказывал ему о хорошем порядке в гарнизонах Павловска и Царского Села и предложил ему устроить там смотр. Мысль, по-видимому, ему понравилась. Нужно заметить, что в Петрограде после революции несколько раз заходил разговор об устройстве парада, но каждый раз вопрос откладывался, вероятно, не без давления со стороны Совета. Решили мы произвести смотр на следующий день, сначала в Павловске, — потом в Царском.

Сделав ночью все распоряжения, я выехал около 8 часов утра. Прибыв на плац в Павловске, я сел на лошадь для своего объезда, и в это время старший из придворных конюшенных меня спросил, какую лошадь дать военному министру? Говорю, что самую спокойную. Конюшенный спрашивает: «Можно эту?», показывая на какого-то белого зверя. Соглашаюсь и только потом вспоминаю, что это та лошадь, на которой государь всегда ездил, когда был в гусарской форме. Нужно заметить, что накануне по поводу верховой езды был с Керенским разговор. Он очень сильно упирался, уверяя, что ввиду скверных почек ему доктора запретили ездить верхом. Я ему доказал, что обходить конный строй пешком немислимо (даже революция не может изменить смысла русской пословицы, по которой конный пешему не товарищ) и что его мысль — объехать фронт на автомобиле рискованна, ибо он может распугать лошадей, и что, наконец, получасовое пребывание в седле на спокойном животном никак не может отозваться на его почках.

Итак, только что я успел объехать части и поздороваться, как подъехал автомобиль Керенского. Он взгромоздился на седло и, взяв в руки мундштучный повод с одной стороны и трензельный с другой, поехал по фронту, в то время, как один конюх следовал пешком у головы лошади, по временам давая ей направление, а другой бежал сзади, вероятно, с целью подобрать Керенского, если он свалится. Рожи казаков запасной Сводно-гвардейской сотни не оставили во мне никаких сомнений относительно впечатления, произведенного объездом, а Рагозин почему-то уверял, что ему припомнилась картинка средневекового епископа, ехавшего верхом с Евангелием в руках, ведомом под уздцы скромным послушником.

Церемониальный марш прошел благополучно; гвардейские казаки свой марш «Славься, Ты славься» заменили чем-то другим. После речи войскам, которую могли слышать только немногие,

присутствующая публика окружает Керенского. Дамы осыпают его цветами, конюха стараются охранить белого коня от прикосновения публики, опасаясь, что он может, в конце концов, потерять терпение, но благородное животное стойко выносит все оскорбления. Керенский говорит речь, «радуясь, что может приветствовать жителей Павловска — одной из твердынь царизма» и т. д.

Я слезаю и качу скорей в Царское. Тут парад очень большой. Стрелки в полном составе одни занимают огромное пространство, не говоря о формирующихся артиллерийских частях и пр. Успеваю только галопом объехать части и встретить Керенского, который на этот раз объезжает фронт на автомобиле. Его нервные окрики «тише», обращенные к шоферу, сменяются однообразным «здравствуйте, товарищи», далеко не всегда приходящимся на середине объезжаемой части. Вполне понимаю, что нельзя от Керенского требовать различных оттенков в приветствовании частей, а тем более улавливания того, где кончается один батальон и начинается другой, но во время церемониала он мог бы более внимательно смотреть на проходящие войска, а не разговаривать с окружающими. Знаю по собственному опыту, как неприятно старательно проводить часть церемониалом, когда начальство не смотрит.

После просмотра едем к коменданту завтракать. За завтраком комендант показывает нам игрушечную винтовку наследника, которую часовой отобрал у несчастного мальчика, опасаясь возможности вооруженного нападения. Даже Керенский негодует.

Возвращаемся в город, и в тот же вечер Пальчинский меня спрашивает: «Правда ли, что сегодня Керенский объезжал войска на белой лошади царя? В Совете об этом очень волнуются». — Трогательное доверие демократов друг к другу.

Очевидно, что при таком отношении к Керенскому со стороны той среды, которая его выдвинула, ему следует искать поддержки в другом месте. Не берусь судить, как обстоит дело с пролетариатом вообще, но сомневаюсь, чтобы очень благополучно для Керенского, так как пролетариат живет по указке Совета с сильной примесью большевизма на немецкие деньги. В войсках, как я уже доказал, рассчитывать на расцвет его обаяния не приходится, и только запуганные буржуи готовы его на руках носить в надежде на то, что он восстановит порядок, да члены беспомощного Временного правительства танцуют под его дудку, считая, что в случае конфликта, Совет его всегда поддержит и поэтому с ним ссориться не стоит. Кроме того, члены правительства индивидуально боятся ответственности как огня и поэтому всячески поощряют Керенского действовать, сами оставаясь в тени. <...>

После большевистского восстания² произошли перемены в правительстве. Керенский вытурил Переверзева, не знаю в точности, за что, быть может, за обнаружение шпионских документов, столь сильно скомпрометировавших господ большевиков. Во всяком случае, я по телефону выражаю ему свои симпатии, говоря, что, вероятно, и я сам скоро уйду с арены за борьбу с темными силами. Об уходе князя Львова и вознесении Керенского в председатели Совета я узнал довольно странным образом: вошел ко мне в кабинет прокурор Синода Львов и торжественно заявил: «Наша взяла». Никак я не мог сначала уразуметь, что сей государственный муж разумел под словами «наша», и был крайне удивлен, выяснив, что победа Керенского соответствует заветным стремлениям обер-прокурора. <...>

После подавления большевистского восстания буржуи подняли голову. Подписка в пользу семей убитых во время беспорядков дала более 200 тысяч рублей, так что каждая вдова получила около 30 тысяч. Говорят, многие жены на Дону молят Бога о продолжении беспорядков в столице. Насколько помню, инициатива подписки исходила из Экономического клуба, ставшего местом партии и. и. (испуганных интеллигентов). Зашевелился и старый комитет Государственной думы, пытающийся доказать, что правительство Керенского — учреждение незаконнорожденное, ибо, в противоположность кабинету князя Львова, оно сформировано без санкции Думы. А до созыва Учредительного собрания нужно считать Думу единственным законным представительным собранием в России³, но об ее существовании все позабыли. <...>

Еду в Таврический дворец, где нахожу Чхеидзе. При прощании он мне очень горячо жмет руку с пожеланием всяких успехов в будущем. После этого заезжаю на Фурштадтскую⁴ к Родзянке. Не нахожу его дома. Оставляю карточку и возвращаюсь восвояси, но не проходит и часа, как Родзянко приезжает ко мне. В продолжительной беседе излагаю ему все свои злоключения и печальные наблюдения, сводящиеся к тому, что я готов был всячески Керенского поддержать в надежде на то, что он спасет Россию, но теперь убедился в полной его непригодности на такую роль. — Он не умеет разбираться в людях, плохо ориентируется в настроениях масс, особенно солдатских, не имеет достаточно дипломатического такта, чтобы скрывать своего двуличия, к сожалению, иногда необходимого на политическом поприще, и, наконец, за последнее время слишком, по-видимому, занят мыслью о собственном величии. Его слишком очевидное и честолюбивое стремление стать самодержавным диктатором понемногу

охлаждает симпатии даже самых горячих его сторонников. Словом, для управления страной недостаточно одного только красноречия, хотя бы и выдающегося.

Родзянко, знающий лучше меня внутреннее состояние России, еще более пессимистичен, предвидит колоссальный развал и кончает наше собеседование советом мне ехать на Дон к Каледину, говоря, что единственная надежда на спасение в Новочеркасске, куда и он сам рассчитывает скоро переселиться. — Отвечаю, что этот совет буду иметь в виду, но теперь хочу немного отдохнуть в деревне, ибо чувствую себя страшно измотанным после двухмесячной петроградской трепки. Прощаемся очень сердечно. Родзянко уезжает.

Получаю дружеское предостережение из прокурорских кругов, будто Керенский собирается меня арестовать, вероятно, в связи с выступлением в штабе, происшедшем ночью при известии о моем уходе. Считаю его вполне способным на такую пакость, хотя бы с целью дискредитировать меня в солдатских умах, обвинением в контрреволюционности. Поэтому, получив по телефону приглашение от великого князя Михаила Александровича обедать у него, так как, мол, я теперь не являюсь больше официальным лицом, принужден ответить, что совместная трапеза, к сожалению, нежелательна, ибо может навлечь неприятные последствия не только на меня, но и на его высочество.

Решаю уехать 15-го июля. В этот день как раз назначены торжественные похороны казаков, убитых во время восстания. Мне не хочется быть в столице во время этой церемонии, так как, с одной стороны, при моей дружбе с казаками, мне неудобно отсутствовать, а с другой — совершенно не желаю встречаться с Керенским и его приспешниками. Поэтому накануне вечером заезжаю в Исаакиевский собор, где возлагаю венок около казачьих гробов и объясняю офицерам, что уезжаю завтра утром. Из этих похорон правительство устраивает грандиозную манифестацию (своей силы, что ли?): участвуют эскадроны и роты от всех частей гарнизона, депутации и проч. Похороны погибших конно артиллеристов произошли ранее в Павловске при моем участии с меньшим торжеством, но с большей задумчивостью. <...>

Еду в Лугу и водворяюсь на мирное житье у берегов Череменецкого озера.

Предаюсь животному существованию: ем, сплю, гуляю под древними березами, а по вечерам гляжу на старые портреты, стараясь угадать, что подумал бы, например, прадед Андрей Петрович, если бы мог увидеть судьбу своего потомка.

Иногда приезжают с новостями из города, то Рагозин⁵, то Масленников⁶, отец коего⁷, между прочим, в собрании членов Государственной думы произнес речь, критикуя правительство Керенского и говоря, что я пострадал за то, что подавил большевиков⁸. Оказывается, теперь правительство вместо борьбы с большевистской опасностью усердно занялось более легким делом подавления несуществующей контрреволюции. Особенно старается Кузьмин, совершающий массу бестактностей — сначала, при аресте Гурко, за письмо, написанное им царю после отречения, затем при домашнем аресте великого князя Павла Александровича, с приставлением караула, и т. д. Кузьмин же производит расследование по поводу происшествий в штабе, когда узнали ночью о моем уходе. Но дело кончается ничем. Забавен рассказ Рагозина о том, как Кузьмин в день похорон казаков объезжал войска у Исаакиевского собора, ухитрившись приблизиться так, что никто его не заметил, и здороваясь со спешенными сотнями, стоявшими «вольно».

Эрдели⁹ от командования петроградскими войсками благородно отказался, и Керенский вышел из затруднения, назначив Васильковского¹⁰, физиономия коего ему понравилась во время приема депутации георгиевских кавалеров. Одно у Васильковского преимущество, что он родственник Балабина¹¹ и, может быть, будет поэтому его слушаться.

На фронте тем временем произошли исторические скандалы у Калуща и Тарнополя. Керенский, разочаровавшись в Брусилове, вышиб его еще гораздо более бесцеремонно, чем меня. Правительство ухватило за Корнилова, желая назначить его верховным главнокомандующим, но он поставил условием введение смертной казни и проч. Министры разругались. Керенский обиделся и уехал в Финляндию. Россия на несколько дней осталась без главы правительства и без верховного главнокомандующего. Потом все уладилось, условия Корнилова были приняты, назначение его состоялось, и Керенский, подобно Борису Годунову, милостиво вернулся к своим присмирившим боярам. Он, по-видимому, вообще собирается идти по стопам этого знаменитого авантюриста. Весьма характерно переселение в Зимний дворец, в царские покои, хотя Рагозин уверяет, что я являюсь виной этому, так как, благодаря мне, центр событий перенесся на Дворцовую площадь, и что Керенский это учел. Достоверно одно, что он сам шутит над своей подписью, которую из-за торопливости сократил до одной буквы «К» с неопределенным хвостиком. Теперь он говорит, что «А. К.» очень похоже на «Александр IV». Его адъютанты стали носить аксельбанты

по образцу флигель-адъютантских, а один из них, говоря про флаги, недавно заявил, что Керенскому так «эти красные тряпки» надоели, что он хочет Андреевский флаг сделать национальным. Красная тряпка на Зимнем дворце при каждом отъезде Керенского из города опускается, как в былые дни Императорский штандарт, и голый флагшток свидетельствует об отсутствии Хозяина Земли Русской из столицы.

Красная тряпочка на автомобиле Керенского заменена флагом морского министра. Все это, конечно, мелочи, но мелочи знаменательные. А если верить сплетням, то новый Борис Годунов подыскивает себе Ирину. Скоропалительно состоялся его развод с женой, которая, по слухам, ругает его на всех перекрестках, говоря, что, небось, пока он был скромным присяжным поверенным, так и она была хороша, а теперь и т. д. Встретил ее раз за чаем у Кузьмина, вид у нее невеселый. После развода¹² все ожидали, что он женится на артистке Тиме¹³, к которой, по-видимому, питал нежные чувства, но это не произошло. Наоборот, госпожа Тиме пропечатала в газетах негодующее опровержение подобным слухам. Теперь получают туманные сведения, будто Керенский совещался с обер-прокурором Синода о возможности его брака с одной из царских дочерей. Привожу эти сплетни, чтобы показать, в каком направлении работали обывательские языки.

Когда, в довершение всех мер против контрреволюции, состоялась отправка царя с семейством в Тобольск, будто бы вместе с тем для большей их безопасности, Керенский на прощание сказал царю, что, вероятно, в декабре ему можно будет вернуться. Опять-таки, если верить слухам, Керенский уверен в том, что Учредительное собрание возложит на его главу президентский цилиндр, который можно будет легко заменить Шапкой Мономаха, особенно породившись с царской семьей.

